**Николай Тертышный**

**Наказание**

Рассказ

…У кабинета Сергей Николаев стоял долго и упорно. Должно что-то важное и неотложное решалось за солидной, словно каменной, дверью председателя профкома. Ещё пару лет назад Серёга работал в бригаде Хопчука, нынешнего хозяина этого неприступного кабинета. Бугор был неплохим мужиком, в бригаде всегда была работа и неплохие заработки, но дружбу с ним, в общем-то, никто не водил. Накануне перестройки Хопчук решил сделать карьеру: вспомнил, что когда-то оканчивал политех, с выгодой для себя покрутился среди начальства, сел на выборную должность, а когда начали завод делить да продавать, оказался на стороне тех, кому перепадает всегда больше. Серёга же свой институт, что окончил на пару лет позже, забыл напрочь, был занят семьёй, просто вкалывал, получал свой минимум и не лез на глаза начальству. Сейчас, подпирая стену у кабинета Хопчука, вспоминал, как в цехе затеяли избрание совета трудового коллектива.

…К тринадцати часам непривычно активно из всех закоулков большого цеха в конференц-зал собрался народ. Серёга присел с краю почти у самого выхода, с мыслью быстрее выскочить после окончания собрания. Во всей людской сутолоке в последнее время чувствовалась какая-то искусственность, словно кто-то владеющий некогда устрашающей силой торопился показать её, ограничиваясь лишь умением собрать людей всех вместе, не предлагая при этом нужных и важных решений. Какое-то саднящее души напряжение объединяло массы, выделяя крикунов и новоявленных лидеров. Начальство, сплочённое непониманием такого напряжения в людях, демонстративно не участвовало в низовых собраниях, может быть отчасти и побаиваясь неожиданно случившейся внизу солидарности. Чувствовалось лишь влияние партийных секретарей низовых организаций, явно получивших сверху добро на организацию советов в рабочих коллективах.

- У нас никак снова «вся власть советам!», как в семнадцатом, – язвил кто-то из середины небольшого переполненного зала.

Пришедшие прямо с рабочих мест в робах, с немытыми руками работяги просто галдели, почуяв свободу, но, отучившись за долгие годы принимать какие-либо решение сами сообща, не знали, что с этой свободой делать. Секретарь парторганизации, не удерживал собрание в должных рамках, и оно грозило превратиться в митинг. В какой-то миг Серёга подумал о важности и неотвратимости проснувшегося движения в коллективах. Что-то действительно грозное проворачивалось в людях, готовое озлобить и разобщить их навсегда.

- Мужики, а вдруг действительно пришло время общественного управления? – спросил он тихо, ни на кого не глядя и не поднимаясь со своего места.

Но в зале вдруг наступила тишина. Серёга недоуменно оглянулся и только тут понял, что шум, гомон, выкрики и пустой трёп – это внешнее в толпе, напускное, а внутри напряжение и ничем не прикрытое ожидание нужной мысли, нужных действий. Весь зал смотрел на него напряжённо парой сотен серьёзных глаз. Отчего по спине пробежали мурашки, и Серёга медленно встал.

- Ну, да! Ведь старики наши думали когда-то управлять сообща, коллективно, так сказать. У них не очень-то получилось, сами знаете. Так может быть сегодня у нас должно получиться? – он неловко развёл руками.

Зал ещё несколько мгновений молчал, но потом вновь зашумел. А Серёгу словно прорвало и он, на удивление самому себе громко заговорил:

- Сколько лет нам вбивают в головы о рабочей сознательности, о передовых идеях, о солидарности, а что же мы…? Много ли мы вникаем в самоуправление?

- Как же, так тебя и допустили туда! – крикнули откуда-то с задних рядов.

- А ты пробовал сам-то? – Серёга оглянулся, но теперь в глазах у людей зажглись насмешки и ехидство.

- Вот ты и пробуй, раз вызвался!

- Давай, давай, Серый, валяй в демократию…! – это выкрикивал кто-то уже из знакомых.

- Николаева в совет! – не то насмешливо, не то серьёзно кричали из зала.

Ещё минут пятнадцать гвалта и Серёгу выбрали председателем совета коллектива цеха, а технолога Женю Пшеничную ему секретарём в помощники.

«Не было печали – черти накачали…» – препротивно думалось после собрания, и в голове вертелось изрядно пессимистическое предчувствие: – «Какие могут быть общественные заботы, когда на дворе вот-вот грядёт буйство абсолютного индивидуализма…».

Но вышло так, что совет трудового коллектива направил его в профком разобраться, почему всем работягам пересмотрели классность и без каких бы то ни было объяснений, всем без исключения снизили разряды. Решение совета Серёга отпечатал, как полагается на машинке, и отправил две копии с Женей в профком и директору. Спустя пару недель, после того как из начальственных кабинетов не последовало ответа, нужно было идти «наверх» самому. Как ни крути, поручение совета нужно выполнять. Так, по крайней мере, должно быть, как он полагал. Толкнувшись в кабинет к Хопчуку, нашёл его занятым разговором с директором и, встретившись взглядом с председателем, понял, что надо ждать.

Простоял у двери с полчаса и начал злиться: «Хоть бы стул поставили…. Нет! По струнке держат…». Его одолели вдруг ясные и понятные мысли:

- «…какая глубокая неодолимая пропасть разделяет нас с Хопчуком. Я вижу мир с самого низу, боясь и не понимая вот того, что называют организацией. Я всю жизнь живу вне этого, не видя и не осознавая в организованности пользы, за исключением может быть сплочённости людей в лихую годину, может быть в труде, к которому всегда принадлежу, но лишь как один из многих незаметных исполнителей. Может быть, это потому что любая организация всегда выдавливает из моего сословия все соки на своё величие и помпезность, оставляя низу лишь необходимую для выживания самую малость…? А Хопчук всегда кормился этим организованным состоянием, он знает и понимает пользу такой общественной организованности. У него есть к этому и умение и опыт. У меня же опыт индивидуального выживания в обществе, хотя формально я частица массы. У него другой труд…, вернее у меня труд, а у него способ отчуждать этот труд. Он всегда будет видеть меня внизу, потому я для него наивен и прост. За собой же он ощущает профессионализм и силу организации, рационализма и важности…».

В кабинете, кажется, закончили разговор, приоткрылась дверь и Серёга, опережая выходящего директора, придержал его за локоть:

- Прошу, прощения, Пал Петрович, у меня один общий вопрос к вам с председателем. Совет цеха спрашивает, почему понизили разряды? Мы две недели назад подавали «челобитную»…

Директор брезгливо повёл плечом, высвобождая локоть из серёгиной лапы, бросил надменно:

- Не видел ни совета… вашего, ни бумаг…, – и вышел из кабинета.

Вот тут Николаева прорвало. Остановившись у стола напротив председателя, он заговорил громко и зло, не особо следя за словами, о том, что рабочие в цехе обижены, о том, что они люди, пусть даже в отличие от начальства и простые люди, но семьи у них тоже есть, и дети есть, и гордость есть и, вообще, развелось сволочей всяких по всем кабинетам на каждом шагу…

Хопчук же сидел, уставившись в одну точку, и делал вид, что слушает Николаева. Ему наверно хотелось, чтобы чувство стыда изнутри нахлынуло к сердцу и заставило биться его больно и часто. Но стыд не приходил. От взора на этого озлобленного слесарюгу под горло подступил спазм брезгливости и досады. Мысли надоедливо завертелись в голове: «Какие мелочи требует этот… человечишка, разряды у них, видите ли, сняли, квалификацию понизили. Что ты знаешь, бедолага, кроме своих паршивых слесарных разрядов? Производство рушится…! За жизнь драка идёт смертная! Хотя, вру…, пока за капиталы идёт потасовка, за сытость, за власть над вот такими как ты, слесаришка невежественный. А я не хочу оставаться без ничего, как останешься ты, потому что не видишь правды свершающихся перемен, не дано тебе этого. Ты будешь исходить желчью в мелкой сваре за свой разрядишко, глупец, не зная, что «пирог», наработанный нашими отцами, уже поделили и вот-вот растащат по коттеджам, по банкам, по заграницам. Ты озабочен своей крохой с общего… стола? Ха! Да её уже смахнули бордовым рукавом и затоптали в азарте этого вселенского «банкета». Всю оставшуюся жизнь ты теперь будешь путаться под ногами на этом празднике ненасытной алчности, и искать свой… сухарик. Тю-тю, поезд ушёл уже, мужик! Не мешай мне половчее ухватить свой кусок, я не хочу быть похожим на тебя. И не совести меня, это всё будет зря. Я не знаю, кто затеял этот делёж, но я знаю, что противиться этому пустое дело, и что самое верное сейчас урвать «своё»! И я знаю, как это сделать, и не виноват, что жизнь провела меня к этому через паршивое деревенское детство, через институтские коридоры, через пороги административных интрижек и свалок. И ты, ведь, бросаешься в драчку не за общее, нет…! Из-за своей доли ерепенишься, но ты сам виноват, что она у тебя такая маленькая. А у меня больше, я всё делал, чтобы она была больше…! А ты, что делал ты…? Торчал у своего верстака?! Ха! Подумаешь, пролетарий! Кончилось это время, баста! А я никогда не хотел быть пролетарием, никогда…, понимаешь ли ты это, мужик? И равенства никогда не хотел, и братства…». Он чуть было не задохнулся. Но лишь покраснев и справившись со спазмом в глотке, почти спокойно проговорил:

- Ваши требования, вероятно, были неправильно оформлены в административно-хозяйственном отделе и потому не дошли сюда. Я сожалею, но профком ничем вам не поможет…

Серёга оторопел, мысли его спутались вовсе от такого безапелляционного ответа профсоюзного лидера. Так растерянно смолчав, он и ушёл не солоно хлебавши из кабинета Хопчука. «Эх, времечко! Если уж организация призванная как-то защищать рабочих не помогает, то чего же ждать от власти вообще…?» – сей заковыристый вопрос застрял тогда в его голове, словно закупорил всё другое в понимании, не давая возможности хоть как-то разобраться в происходящих переменах в жизни. Отчитываться перед трудовым советом было нечем и Серёга просто тупо смолчал, словно обида и непонимание людей, болью засевшие в сердце, привязали язык к нёбу. А тут и другие заботы навалились, залихорадило цех перебоями с работой, месяцами люди оставались без зарплаты. Работяги нервничали и угрюмо безгласно разбегались. Так молча чуть погодя и Серёга, оставшись полгода без зарплаты, покинул цех. На душе осталось щемящее чувство восторженной памяти лучших своих юношеских лет, отданных цеху, и ещё невыносимо горькое чувство собственного предательства этому же цеху. Серёге теперь всегда помнилось его неумение найти способ защитить коллектив, слабодушие и смирение, одолевшие вдруг после встречи с начальством, большее предательство которого, казалось, стало единственным оправданием и его молчаливого согласия с несправедливостью наступившего смутного времени.

…Прошло десять лет. Время коллективного управления цехом так и не наступило. Завод за эти годы развалился, и полторы тысячи работников разбрелись по задворкам автомастерских, по «шарашкам», освоившим производство пластиковых окон, по всяческим теплушкам и сторожкам, на автостоянках, по контейнерам и сараюшкам на рынках. Николаева по-прежнему все называли Серёгой, невзирая на изрядную седину в голове. В эти годы по-прежнему слесарил, переквалифицировавшись на автодело, тянул исправно с женой семейную лямку и в свободное время воспитывал внуков.

Нынче случайно по какой-то пустяшной надобности заехал к приятелю в гараж, что расположен в безобразном бетонном ряду подобных построек на околицах южного микрорайна. Пока товарищ, нырнув в чуть приоткрытые ворота, искал что-то в потёмках бетонного «склепа», Серёга невольно присматривался к сгорбившемуся у соседних ворот старику, рядом с которым копался в куче песка у согретой солнцем каменной стены мальчуган лет пяти. Старик безвольно поводил головой, пытаясь верно что-то сказать мальчишке, издавая лишь нечленораздельное мычание и пуская при этом слюни. В этом обессилевшем «старике» с замедленным бессмысленным взглядом, с вязкой струйкой жидкости, свисавшей с тонкой, синей губы, он узнал своего давнего бригадира, о жизни которого в эти годы узнавал случайно, мельком из слухов да из местной прессы. Хопчук после дележа завода пошёл в гору, стал каким-то важным директором какой-то важной акционерной компании. Какой-то случай сводил их года два назад на улице у входа в супермаркет. Встретившись взглядами, они узнали друг друга, но, ни кивком, ни словом не показали этого. Пред Николаевым тогда предстал самоуверенный дородный мужчина с надменным взглядом красивых карих глаз, досиня выбрит, с запахом дорогого парфюма, в костюме с иголочки, на дорогущей машине под присмотром двух шкафоподобных качков.

А теперь перед ним у ржавых ворот мрачного гаража сидел «бродяга» в рваных спортивных шароварах китайского пошиба, в резиновых сланцах на грязных ногах с жёлтыми изъеденными грибком ногтями. В слезящихся глазах ни тени мысли.

- Это же…?! – невольно удивился Серёга, когда товарищ выбрался из потёмок гаража.

- Да-да…, – мрачно подтвердил его догадку приятель. – Как говорится: се ля ви…

- Он же лишь на пару лет старше нас…! – ошарашено всё ещё недоумевал Серёга, отъезжая от гаражей.

- Против судьбы не попрёшь…, – резонёрствовал товарищ. – Слышал, его крепко кто-то поколотил… по голове.

- А что он делает здесь…? – глупо спросил Николаев.

- Наверно помнит, что у него тут была машина, – не то в шутку, не то серьёзно пожал плечами приятель. – Полгода после инсульта по больницам провалялся, да вот здесь его уже года полтора встречаю с внуком. Видать не совсем конченный, если пацана ему доверяют. Но, надо сказать, своим… он сытую будущность обеспечил. Цех наш помнишь? Его компашка в аренду сдаёт, кормятся помаленьку нашим прошлым трудом…

Приятель вовсе не злорадствовал, в голосе его слышалась жалость и грусть.

«Надо же, как жизнь может поиздеваться над человеком…», – подумал Серёга грустно.

А приятель, словно угадывая его грусть, просто проговорил:

- И учти, это с любым сегодня может запросто случиться, – и полушутя смачно завершил: – Метаморфоза грешного капитала…

А Николаеву хотелось добавить – «…да, уж и наверно наказание за что-то…». Но он почему-то угрюмо промолчал…